

12+

ХРАНИТЕЛЬНИЦА ЧАСОВ

История, написанная для вас



АЙДЕТОПИСЬ

Хранительница часов

История, написанная для вас

12+

Глава 1. Луковица с двойным дном

Лена открыла окно, и в лавку вошло море: соль, мокрый камень, далёкий чаячий скандал. Часы на стенах немедленно заспорили. Ходики над верстаком считали, что десять двадцать. Штурманский хронометр у двери стоял на без четверти девять. Кукушка в углу, из принципа не участвовавшая в споре, молчала на половине седьмого. Телефон показывал десять сорок семь. Никто не врал, каждый был прав по-своему, и разбираться с этим Лена перестала ещё в сентябре.

Она села к верстаку, вытащила из стопки квитанцию и прочла вслух:

— «Будильник, звонит невпопад». Не «невпопад», а «с отклонением от заявленного».

Колокольчик над дверью звякнул. Дверь при этом не двигалась. Через секунду в проёме возник Артём, сутулый, в жилете, с очками на шнурке, и только тогда колокольчик добавил ещё одну ноту, словно вспомнил, что пропустил.

— Он у вас с утра как на почте, — сказала Лена. — Письма приходят позже людей.

— Зато не ошибается адресом, — сказал Артём.

Он прошёл вдоль верстака, ставя ногу осторожно, будто пол мог проснуться. Остановился рядом и протянул руку:

— Дай-ка.

Лена отдала пинцет. Артём взял его, повертел, зачем-то прижал кончики друг к другу и посмотрел на просвет. Пальцы у него мелко ходили, как стрелка на хорошем часовом механизме, и он держал инструмент повыше, чтобы это не было видно.

— Сточился, — сказал он.

— Он новый.

— Значит, плохо родился.

Лена промолчала. Артём положил пинцет обратно, ровно, параллельно краю верстака, и вдруг взял её левое запястье. Она даже не успела отдёрнуть. Он глянул на циферблат, на тонкие стрелки, которые чинил ещё в сентябре, потом на ходики над головой.

— Идут, — сказал он.

— Идут. Единственные в этом помещении.

— Что от нас вышло, — Артём выпустил её руку, — то идёт всегда.

Он ушёл в подсобку, не дожидаясь ответа. Кот Секундант на подоконнике дёрнул ухом и не проснулся: до четырёх он в делах не участвовал.

Мира приехала на запахе. Сначала в лавку вползла корица, потом звякнули браслеты, и только потом колокольчик, снова опоздав, объявил о ней всем, кто ещё не догадался. В руках у Миры были два картонных стакана, под мышкой пакет с булочками.

— Леночка, кофейку! С корицей, как ты любишь, а булочки с вишней, я вижу, ты вчера не обедала, не спорь. Новости с побережья, слушай. У Прохоровых дочка вернулась из столицы, и не одна, но это не главное. Главное, что по кварталу с утра ходит человек в дорогом пальто и с рулеткой. С рулеткой, Леночка! Меряет наш угол от булочной до аптеки. Я ему кофе предложила, а он сказал «благодарю» и записал что-то в планшет. Кто пьёт кофе, тот не записывает, вот моё мнение.

— Может, он просто любит измерять, — сказала Лена, принимая стакан.

— Все любят. Только не наш угол. — Мира понизила голос и покосилась на подсобку, где что-то тихо звякнуло. — И ещё говорят... ты только не... В общем, говорят, что Артём Львович к Новому году лавку закрывает. На покой.

Мне Зинаида из аптеки сказала, а ей... — Она замолчала, поправила косынку и сама себя оборвала: — Ну, у Зинаиды язык, сама знаешь. Ты пей, остынет.

Лена пила. Кофе был обжигающий, с корицей, честный. Про Новый год она ничего не спросила, а Мира, вопреки привычке, не стала ждать вопроса и принялась рассказывать про вишню.

Дверь распахнулась, и колокольчик прозвенел на этот раз вовремя, что было почти оскорбительно. Тимка влетел, придерживая на бегу куртку, из которой торчали рукава, наверное, чужой руки.

— Здравсьте! Тётя Мира, вы тут! Лена, мой заказ готов? Ну, будильник Кравцовых? А это правда, что вы его открывали пинцетом, а не как все, ножом? Прикольно же!

— Готов, — сказала Лена и протянула ему свёрток. — Не «открывала пинцетом», а «вскрыла корпус штатным инструментом».

— Ага. — Тимка сунул свёрток в карман, где что-то сразу брякнуло. Он потоптался на пороге, глядя в окно на площадь. — А вы видели, что часы на башне вроде отстают?

Лена подняла голову. Циферблат на башне смотрел на неё поверх крыш, серый, как и всё в это время года. Стрелка стояла где-то у одиннадцати.

— Не отстают, — сказала она. — Расходятся с мнением города.

— А, — сказал Тимка. Постоял ещё секунду, будто хотел добавить, но передумал, и умчался. Колокольчик звякнул ему вслед и, видимо, счёл долг исполненным.

Софья Аркадьевна явилась в половине третьего. Колокольчик к тому времени как раз отзвонил её приход, и получилось, что она вошла дважды. Шляпка с брошью-якорем, трость с костяной ручкой, следом облако

ландыша и старых шкафов.

— Милая барышня, я к вам с делом деликатным.

Из сумочки она достала часы-луковицу, завёрнутые в батистовый платок, и положила на стойку так, как кладут спящего младенца.

— Они то идут, то нет. Совершенно как моя племянница на службу.

— Не «то идут, то нет», а «ход неустойчивый», — сказала Лена. — Когда именно встают?

— Когда им вздумается. При моей бабушке они не вставали никогда. Но бабушка их и не носила, она ими гордилась.

Лена повернула часы к лампе. Серебро потемнело, на крышке был вензель, стёртый до тени: то ли «В», то ли «И».

— Это ведь из дома Веретёновых, — сказала Софья Аркадьевна и кивнула на портрет над верстаком. — Достались нашей семье по случайности. — Слово она произнесла осторожно, как хрупкую чашку. — У нас, знаете, случайности имеют обыкновение затягиваться лет на сто с лишним. Часы мои, а лежат в нашей семье с тех самых пор.

Лена подняла глаза. Веретёнов держал свои карманные часы и щурился поверх круглых очков. Лампа качнулась от сквозняка, и ей показалось, что он подмигнул. Блик, конечно.

— Оставляю их вам, — сказала Софья Аркадьевна. — И, с вашего позволения, надежду.

Когда дверь закрылась, Лена села за верстак и вставила в глаз лупу.

Задняя крышка сошла легко. Под ней обнаружилась вторая, тонкая, притёртая так, что шва не разглядеть. Лена взвесила часы на ладони. Тяжелее, чем полагается,

граммов на пять. И крышка сидела на волос выше, чем позволяла честность.

— Раз, — сказала она вслух, подводя лезвие. — Два. Три.

Внутренняя крышка щёлкнула и отскочила. В полости лежала латунная деталь, похожая на зуб шестерни, только с длинным хвостовиком. Рядом, свёрнутый в трубочку, лежал листок такой тонкий и жёлтый, что напоминал луковую шелуху.

К четырём часам проснулся Секундант, приоткрыл один глаз и посмотрел на листок с интересом, которого никогда не проявлял к мышам.

Почерк был убористый, с завитками. По бумаге и слогу Лена решила, что записка пролежала в чужих часах, часах Софьи Аркадьевны, больше ста лет.

«Милостивый государь (или государыня) мастер! Коли Вы читаете сие, значит, достало у Вас пинцета, терпения и дерзости вскрыть то, что вскрывать не велено. Хвалю.

В счёте зубцов нет тринадцатого. Ищите его там, где время впускают в ход. Кто поставит зубец на место, тому после хранить башню; кто не поставит, того не неволю. Рукоять же латунная, а латунь без пальца глуха. Висит она там, где я гляжу на Вас.

Дней Вам пять. После башня устанет.

С почтением и лукавством, И. В.»

Лена фыркнула. Потом засмеялась, коротко и с удовольствием.

— «С лукавством». Нет, вы послушайте: «башня устанет». Гляжу на Вас. Классика жанра, — сказала она то ли коту, то ли портрету. — Взгляд автора. Литература.

Кот зевнул. Портрет промолчал. В дверях подсобки стоял Артём, и, судя по лицу, слушал он давно. Он не смеялся. Очки на шнурке висели у него на груди, и он не

спешил их надевать.

Лена протянула ему листок. Он взял его двумя пальцами, поднёс к самому носу, читал долго, хотя читать там было на полминуты. Потом сложил по старым сгибам и положил на верстак.

— Часы не торопят, — сказал он. — Они напоминают.

— Кого и о чём?

Артём посмотрел не на неё, а куда-то мимо, в угол, где над дверью висели ходики с кукушкой, показывавшие без четверти вечность.

— Ты читай, читай, — сказал он и ушёл в подсобку.

Лена осталась с латунным зубцом на ладони. Артём не спросил, какая башня. Не спросил, кто такой И. В. Не удивился ни разу. Она вертела эту мысль, как деталь без пары, и никуда её пристроить не могла.

К вечеру она поднялась к себе. Окно выходило на площадь, где башня стояла в сырых сумерках, подсвеченная одним фонарём. Пробило шесть. Лена считала удары, как считает человек, у которого больше нечего считать: раз, два, три... Шесть. Последний прозвучал лениво, с зевком. Стрелка у цифры «двенадцать» будто присела отдохнуть.

Чемодан стоял у шкафа, наполовину собранный, с раскрытым ртом. Лена посмотрела на него, потом на латунный зубец в кармане кардигана. Захлопнула крышку и задвинула чемодан ногой под кровать. Он не возражал.

Пять дней. Интересно только, с какого числа считать. Записка на этот счёт ничего не сообщала: даты в ней не было вовсе. Веретёнов, похоже, не доверял календарям. «И. В.» под запиской и стёртый вензель на крышке, «И» и «В», выдавали в авторе именно его.

Глава 2. Тринадцатый зубец

Во вторник Лена начала с очевидного. Очевидное стояло у дальней стены, высотой в два с лишним метра, и было в дурном настроении: маятник качался в такт чему-то своему, а стрелки показывали то ли вчерашний вечер, то ли будущую среду.

Она сняла заднюю панель, посветила лампой и пересчитала зубцы ходового колеса. Пересчитала вслух, чтобы не соврать самой себе:

— Десять, одиннадцать, двенадцать. Тринадцать.

Слишком просто. Простое в этой лавке обычно оказывалось ловушкой. Она достала латунный зубец из кармана и приложила хвостовиком к посадочному гнезду. Хвостовик встал как гвоздь в замок от шкатулки: толстый, наглый, с запасом на всю окрестность. Шаг тоже не сошёлся, зубец был шире соседних на добрую треть.

— Не сюда, Игнат Захарович, — сказала она портрету. — Тринадцать здесь есть. А вы, выходит, про другое.

Колокольчик над дверью звякнул раньше, чем дверь открылась. Лена успела досчитать до двух, прежде чем в лавку вошёл Тимка. Куртка на нём висела как чужая, шнурки на кедах были разного цвета, а под мышкой он держал тетрадь в клетку, перевязанную резинкой от банки.

— Здравствуйте! А вы что, напольные потрошите? Прикольно. А это правда сами? А почему они назад идут?

— Они не назад. Они по-своему. — Лена вернула панель на место. — Ты с заказом?

— Не. Я вот. — Он протянул тетрадь и тут же отдёнул. — Только вы не смейтесь. И не говорите, что я выдумал.

— Я никогда не говорю «выдумал». Я говорю «проверю».

Он развязал резинку. Столбики цифр шли аккуратно, до середины страницы, потом почерк съезжал, как будто рука торопилась. Он сверял башню с радио и с маяком, каждый вечер в одно и то же время.

— Сначала две минуты за сутки. Потом пять. А позавчера почти семь. — Тимка шмыгнул носом. — Я давно заметил. С сентября. Только никому не сказал. Не послушали бы.

— Я слушаю.

Он посмотрел на неё так, будто ждал подвоха. Подвоха не было, и Тимка заговорил быстро, размахивая руками:

— Там внизу, где дверь, есть щёлка. Я глядел. Там колесо, огромное, как стол! И в нём зуба не хватает. Прямо дырка. Как у Витьки из четвёртого «Б».

— Зубца. — Лена сама удивилась, как мягко это вышло. — Не «зуба». Я этим займусь.

— Правда?

— Я не говорю «правда» про то, чего не сделала. Я говорю «займусь». — Она сняла с полки будильник в жестяном корпусе, из тех, что он приносил на запчасти, и поставила перед ним на верстак. — Разбирай. Каждую деталь клади на салфетку в том порядке, как вынул.

Тимка вцепился в отвёртку обеими руками. Про башню больше не спрашивал. Пока.

В среду, ближе к обеду, на её столе появился журнал. Она не слышала, как его положили. Просто подняла голову от лупы, а он лежал: переплёт в потёртой чёрной ткани, уголки обтрёпаны, между страниц торчала закладка из шпагата. В дверях подсобки мелькнул жилет и исчез.

— Артём Львович? — сказала она в пустоту.

Пустота тикала.

Лена открыла на закладке. Чертёж, тушь, рука незнакомая, тонкая: башенный механизм в разрезе, стрелки-рычаги, тяжёлые шестерни, и посреди всего этого ходовое колесо. Тринадцать гнёзд по ободу. Двенадцать аккуратно покрашены чёрным. Тринадцатое оставлено белым, пустым, как окно в доме, где никто не живёт. Внизу подпись, слегка наискось: «по воле».

Она взяла палец, лежавший рядом, и повернула к свету. Хвостовик. Слишком крупный для напольных часов. Как раз для такого колеса.

— Тринадцать, — сказала Лена. — Не зубцов. Мест.

Она водила кончиком карандаша по ободу, не касаясь бумаги.

— Один, два, три... Двенадцать закрыто. Одно свободно. Значит, место, где время впускают в ход. Не в часах. В башне.

Она сосчитала гнёзда ещё раз, потом шаг колеса по масштабу, потом ещё раз хвостовик по штангенциркулю. Считала вслух, всё быстрее и всё тише, пока цифры не сошлись, как сходятся два края разрезанного листа.

Сошлись. Лена отложила карандаш.

За окном на площади башня стояла серая, без единой чайки, и стрелка на ней замерла у деления, которое утром было чуть левее.

В «Третьей чашке» после шести не осталось никого, кроме Миры и радио, которое бормотало прогноз для рыбаков. Мира заперла дверь на щеколду, перевернула табличку и поставила на стойку два кофе с корицей. Потом достала из-под стойки папку, перевязанную бинтом.

— Только не смейся, Леночка. Я полгода. По вечерам, пока булочки подходят.

Лена не смеялась. Подписи шли столбцами на разлинованных листах, вся набережная, до последней рыбной лавки. Старые планы с бурыми кругами от чашек. Письма в конвертах со штемпелями, которых давно нет.

— Вот. — Мира ткнула пальцем в лист, браслеты звякнули. — Договор Веретёнова с хозяином участка. Отсюда читай.

«...не делить, не сносить и не отчуждать, покуда при лавке состоит хранитель».

— Покуда состоит, — сказала Лена.

— А Артём Львович к Новому году... — Мира потрогала серебряный кулон. — Нет хранителя, нет и бумаги. Этот, в пальто, не дурак, он всё прочитал. Он просто ждёт декабря.

Кофе остыл, корица осела на дне. Лена закрыла папку и придвинула её обратно.

— Ты с башней не тяни, ладно? — Мира говорила быстро и смотрела на булочки. — Сама не знаю почему. Просто Тимка сказал, что отстаёт, и у меня как-то... Леночка, а ты ведь...

Она замолчала. Браслеты не звякнули. Радио пообещало ветер до семи баллов.

— Спасибо за кофе, — сказала Лена и отодвинула щеколду.

До лавки было сорок два шага, она пересчитала дважды. Про Новый год Артём не сказал ни слова. Ни в сентябре, ни в октябре, ни вчера, когда положил журнал и ушёл в подсобку. Он не хотел её спугнуть. Она понимала это так ясно, что злилась. Сначала на него. Потом на себя, за ясность.

В четверг она сверила палец с журналом. Хвостовик сходиллся с гнездом до десятой доли миллиметра. Потом открыла Тимкину тетрадь. Столбик цифр, выведенных

карандашом с нажимом: два, пять, восемь. Внизу, крупнее и с двумя подчёркиваниями: одиннадцать.

Одиннадцать минут в сутки. «На всё даётся пять дней» перестало быть старомодной шуткой и стало сроком.

К вечеру она вышла на площадь. Палец лежал в кармане кардигана, рядом с лупой, и оттягивал ткань, как камень. Дверь в основании башни оказалась ниже, чем виделась из окна: чёрная, в железных полосах, с щелью у косяка, в которую, наверное, и заглядывал Тимка. Из щели пахло холодным маслом и чем-то очень старым.

Лена вынула руку из кармана. Пальцы дрожали. Не сильно, но так, что мозоль от пинцета плясала сама по себе.

— Раз, — сказала она. — Два. Три.

В музее руки не дрожали ни разу. Именно это она помнила лучше всего. Ровные руки, ровный вдох, тихий хруст там, где хруста быть не должно. Один раз. Одного раза хватило.

«Поставите — хранить вам».

Хранить. Слово было тяжёлым, как сам палец. Рядом с ним, не спрашивая разрешения, встали другие: «навсегда», «не исправить». Дверь была холодной под ладонью и никуда не торопила.

Лена убрала руку в карман.

Часы Софьи Аркадьевны стоят разобранными, объяснила она себе, пока шла обратно. Будильник у Тимки не собран. Это была правда, и от этого не становилось легче.

В пятницу она собрала будильник до обеда. Завела, приложила к уху, а потом сунула Тимке в карман куртки, где он и остался, тикая торопливо и вразной, как сам Тимка.

— Прикольно, — шепнул Тимка. — Он там как живой.

Артём стоял у верстака и смотрел не на будильник, а на её руки.

— Починенное в лавке, — сказал он и помолчал так долго, что Лена успела перебрать всё, чем фраза могла кончиться, — не стоит.

— Не стоит что?

Он поправил очки на шнурке и ушёл к стене, где часы вращали каждые по-своему.

Без десяти шесть она села к окну наверху. Площадь пустела. Башня стояла серая, и стрелка на ней висела у деления, которое, если верить тетради, минуту назад было чуть левее. Лена положила часы Софьи Аркадьевны на подоконник, чтобы слышать их ход, и стала считать. Один. Два. Три.

Между двумя чёрточками секундной стрелки на башне лежало больше, чем шестьдесят её собственных. Она досчитала до шестидесяти, и стрелка не двинулась.

Шестьдесят один.

Глава 3. Сутки без стрелок

Башня начала бить шесть в десять минут седьмого. Так она делала всю неделю и каждый день извинялась перед городом на одиннадцать минут больше. Лена сидела у окна и считала удары, потому что считать было что.

Первый. Второй. Третий. Гул катился через площадь и глух где-то у набережной. Четвёртый. Пятый начался как всегда, с низкого «бо», и на этом «бо» остался.

Он не оборвался. Он завис. Лена ждала «м», а «м» не пришло.

Она услышала свои часы. Наручные, на вытертом ремешке, Артём перебирал их ещё в сентябре, ворча на её пинцет. Они тикали громко, как в пустой церкви. Раньше она не знала, что они такие громкие.

За стеклом над мостовой висели чайки. Шесть или семь, с растопыренными крыльями, и ни одна не падала. Одна замерла клювом вниз, с обёрткой от булочки. За крышами на гребне волны, которая собралась рухнуть на мол, стояла зелёная стена с белой кромкой. Дым из трубы «Третьей чашки» поднимался ровным столбом, как нарисованный.

— Не «остановилась», — сказала Лена вслух. — Остановилась по причине.

Причину она собиралась выяснить. Отвёртку в пучке она поправила на бегу.

Внизу колокольчик над дверью зазвонил, когда она уже стояла посреди лавки. Часы на стенах шли каждые по-своему, и ни одни не остановились, а Секундант спал на подоконнике, свернувшись рыжим калачом, и даже ухом не повёл. Времени до четырёх ему оставалось по всем часам по-разному.

Артём стоял у верстака и держался за спинку стула. Не как человек, которого напугали. Как человек, который дождался поезда.

Мира ворвалась следом, звеня браслетами. В одной руке у неё была чашка, над которой шёл пар.

— Леночка! Ты видела? Я только налила. Целую, с корицей, поднесла — и вдруг такая тишина, что слышно, как у меня в ухе кровь бежит! Дядя Гриша с тележкой стоит посреди мостовой, как памятник себе. Я ему говорю: «Гриша, кофейку?» А он не отвечает. — Она отпила и посмотрела в чашку с обидой. — Весь город на паузе, а я даже не допила.

— Ты тоже стоишь? — спросила Лена.

— Я? — Мира потрогала кулон на шее, серебряные часики. — Я хожу. Странно, правда?

Тимка влетел, не дожидаясь звонка, и колокольчик отзвенел уже после него.

— Они там стоят! Все! Я помахал тёте Зинаиде из аптеки, а она... — Он схватился за карман куртки, где торопливо тикал будильник. — А я чего, не стою? Прикольно. То есть не прикольно. То есть... А это надолго? А они нас видят? А чайки — они что, так и будут?

— Вопрос не «надолго», Тимофей, — сказал Артём. — Вопрос — «до кого».

Тимка открыл рот и закрыл. Лена отметила, что Артём назвал его полным именем, и что руки у Артёма лежат на стуле спокойно. Всю неделю они дрожали. Сейчас нет.

Он снял с полки журнал, тот самый, с чертежом, и раскрыл на закладке. Веретёновский почерк наклонялся вправо, как человек против ветра.

«Застывшее держится сутки, — прочла Лена. — Далее оно привыкает стоять. Разбудить его может лишь хранитель, рукою и по воле своей, и никто иной».

— Хранитель — это кто? — спросила она.

— Тот, кто захочет.

— Это не определение.

— Это условие, — сказал Артём, и глаза за очками на шнурке смотрели куда-то мимо неё, на портрет над стеной с часами.

Мира замолчала на середине вдоха. Лена знала, что это у неё значит.

Она отвернулась и увидела торчащий из Тимкиного кармана уголок тетради в клеточку.

— Покажи.

Тимка отдал, не споря, только сглотнул. Тетрадь была исписана карандашом, день за днём: столбики цифр и рядом кривая, которую он рисовал каждый вечер. Отставание шло не ровной линией. Оно росло ступеньками. Две минуты, потом пять, потом восемь, потом одиннадцать, и на каждой ступеньке стояла крошечная звёздочка.

— Я думал, ерунда, — сказал он.

— Не ерунда, — сказала Лена. — Это график износа. Или чего-то, что на него похоже.

Она не знала, зачем он ей, но сунула тетрадь в карман кардигана к лупе и отвёрткам. Оттуда торчал уголок, как у Тимки.

— И что мы теперь делаем? — спросила Мира тонко, почти без браслетов.

— Считаем, — ответила Лена. — Двадцать четыре часа. Это восемьдесят шесть тысяч четыреста секунд.

Колокольчик над дверью звякнул сам, безо всякого повода, и все четверо вздрогнули.

К полуночи площадь стала похожей на фотографию, по которой можно ходить. Лена несла лампу из лавки, Тимка шёл на полшага сзади и задавал вопросы.

- А почему ваши часы идут?
- Потому что я их починила.
- А если бы не починили?
- Стояли бы.
- А чайки? Их можно потрогать?
- Можно. Но я бы не стала.

Чайка висела над мостовой на уровне Лениной головы, раскинув крылья. Лена обошла её, как обходят чужую мебель. Пахло солью, но ветра не было, и запах стоял на месте, как всё остальное.

Дверца в основании башни оказалась низкой, окованной, без замка. За ней пахло маслом и холодным камнем. Ходовое колесо стояло сразу за дверцей, у самого основания башни, и было с тележное, тёмное, с латунной каймой зубцов. Двенадцать блестели, на каждом стёрт след от чужого большого пальца. Тринадцатое гнездо зияло между ними, как выбитый зуб у улыбающегося человека.

Лена достала зубец. Хвостовик вошёл без усилия и сел с мягким щелчком, но не схватился. Он покачивался в гнезде, как молочный зуб.

Рядом на колесе была привинчена табличка. Гравировка, витая, с завитками: «Милостивый государь мастер! Палец ставится рукоятью, но не кулаком. Кто станет давить, того колесо не простит: оно заклинит».

Её большой палец уже лежал на зубце. Она заметила это не сразу. Надавить хотелось так, что сводило запястье: ещё полмиллиметра, и встанет. Тогда, в столице, тоже оставалось полмиллиметра. Хруст был тонкий, почти вежливый.

Она убрала руку.

- Нужна рукоять, — сказала она.
- А где она?

— Не знаю.

Тимка помолчал, что для него было подвигом.

Утром Артём сидел за верстаком с остывшим кофе, который вчера принесла Мира. Кофе не остыл до конца, а застыл на середине остывания. Секундант спал на подоконнике, положив хвост на нос. До четырёх часов дня он не собирался ни во что вмешиваться.

— Что вы ещё знаете? — спросила Лена.

— Про что?

— Про записку.

Артём снял очки, протёр о жилет, надел обратно.

— Что она ждёт. Давно.

— Что придёт тот, кто её найдёт.

— Да.

— И вы знали, что это буду я.

Пауза вышла длинная, часы на стенах успели разойтись минут на пять.

— Знал, что должна быть ты, — сказал он. — Раньше, чем ты приехала. Записку оставил Веретёнов, прежний хранитель, для своего наследника.

— Проверка, — сказала Лена. — Пять дней. Понаблюдать, не отстаёт ли.

— Лена... Проверял не я. Веретёнов писал записку как проверку наследника, а я только ждал, кто придёт.

— Меня не выбирали. Меня заводили и смотрели, сколько пройду. — Она вытащила из пучка отвёртку, поняла, что делает, и воткнула обратно. — Не надо. Я всё поняла.

Колокольчик над дверью прозвенел ровно в тот момент, когда она вышла. Это было почти обидно.

На набережной волна стояла на гребне, прозрачная, с застывшей пеной. Лена села на скамью и смотрела на неё, пока рядом не звякнули браслеты. Мира села, поставила

между ними термос, налила в крышку и подала. Пахло корицей. Она ничего не спросила, и от этого Лена сказала сама:

— В столице я испортила часы.

Мира держала свою чашку двумя руками.

— Музейные. Каретные, восемнадцатый век. Я торопилась к открытию выставки и подтянула анкер на четверть оборота больше, чем нужно. Он треснул. — Она отпила. — Я ушла раньше, чем меня попросили. Так что формально это моё решение.

— Ленусь, — начала Мира и остановилась. Браслеты звякнули и замолчали. — Кофейку ещё?

— Да.

Мира налила. Про «со всеми бывает» не сказала ничего, и Лена была ей благодарна так сильно, что не могла это выговорить. Они сидели, глядя на волну. Лена не сказала, что останется. Она об этом даже не подумала. Почти.

Записка лежала в кармане кардигана, сложенная в восьмую долю и мягкая по сгибам. Лена развернула её и нашла последнюю строчку, которую раньше читала как шутку: «А что до рукояти, то она висит там, где я смотрю на вас».

Она перечитала. Потом подняла голову, будто там что-то могло проступить.

Портрет в лавке смотрел на каждого, кто сидел за верстаком. Все восемь недель, каждый день. Она даже привыкла отворачиваться от этого взгляда.

— Куда ты? — спросила Мира.

— Считать, — сказала Лена и встала со скамьи. — Осталось меньше пяти часов.

Глава 4. Рукоять за портретом

Лена пересекла площадь, считая шаги. На сороковом она обошла дядю Гришу: тот стоял с тележкой посреди мостовой, одна нога впереди другой, и выражение лица у него было такое, будто он вот-вот скажет что-то важное про капусту. Колокольчик над дверью лавки звякнул с опозданием, когда она уже подтаскивала к стене стул.

— Раз, — сказала Лена, встав на сиденье. — Два.

Портрет висел выше, чем казалось снизу. Игнат Захарович держал в руках карманные часы и смотрел на неё поверх круглых очков с тем добрым и хитрым прищуром, который всю осень мешал ей паять. Рама была дубовая, тяжёлая, и пыль на верхней планке лежала ровным серым мехом. Кот Секундант спал на подоконнике, свернувшись в рыжий бублик. До четырёх он не шевельнётся, хоть вся башня рухни.

— Четыре крюка, — сказала она. — Пять. Нет, четыре, пятый это гвоздь.

Дверь звякнула ещё раз. Браслеты на лестнице... нет, на пороге.

— Леночка, ты что, прямо так? Без хотя бы... — Мира замолчала, потому что Лена уже сняла раму с первого крюка и упёрла углом себе в плечо. — погоди, я подержу!

Вдвоём они опустили портрет на верстак лицом вниз. Мира отдышалась и потрогала раму пальцем.

— Знаешь, её ведь никогда не снимали. Мама рассказывала, при ней даже стёкла в лавке мыли, а раму — нет. Говорили: Веретёнов не любил, когда за ним следят.

— Он сам следил, — сказала Лена. — С большим удовольствием.

Она обернулась к стене. Там, где висел холст, побелка была чище, чем вокруг, а посередине темнела прямоугольная ниша, глубиной в ладонь. В нише лежал свёрток в промасленной тряпке. Лена развернула её. Латунная рукоять, длиной в предплечье, тёплая, будто её только что держали. На конце квадратный оголовок, под ключ или под палец, и один угол у него был сбит, как сколотый зуб.

Она стояла и смотрела на неё дольше, чем требовалось.

— Я видел, как ты шла через площадь.

Артём стоял в дверях. Жилет застёгнут криво, очки на шнурке, ключ на шее поверх рубашки. Он не подходил.

— Ты искал её тридцать лет, — сказала Лена. — Или сорок.

— Не искал.

— Ах, не искал.

— Загадку я знал наизусть. — Он помолчал. — Там сказано: найдёт рука, вынувшая письмо. Не моя. Чужая рука в чужом тайнике — уже не тайник, а кража. Игнат Захарович такого не прощал, даже задним числом.

— Сто лет как.

— Он и сейчас на тебя смотрит, — сказал Артём. — Обернись.

Лена не обернулась. Портрет лежал на верстаке лицом вниз, и ей показалось, что усы под холстом ехидно шевельнулись.

— Это объяснение, — сказала она. — Не оправдание.

— Я и не просил оправдания.

— А чего просил?

Артём открыл рот и закрыл. Мира вдруг очень заинтересовалась пылью на своём рукаве.

Лена кивнула. Не ему, а как кивают детали, которая села на место с тугим щелчком: не нравится, но держит.

Она завернула рукоять обратно в тряпку.

— Мира, там на столе термос. Налей ему, пожалуйста. У него руки трясутся.

— У меня не... — начал Артём и посмотрел на свои руки. — Налей.

Лена взяла свёрток и пошла наверх. Ступени на винтовой лестнице скрипели каждая на свой лад, она насчитала четырнадцать. Комната над лавкой стояла в сером свете, окно смотрело на башню. Стрелки на циферблате показывали пять ударов и остановленную секунду. Из-под кровати торчал угол чемодана.

Она вытащила его на середину комнаты. Расстегнула ремни. Сверху лежали два свитера и коробка с чаем, который она так и не допила, под ними, завёрнутые в шарф, надфили, штангенциркуль, набор развёрток. Лена вынимала их по одному и складывала стопкой на подушку. Свитера оставила. Шарф тоже.

Крышку она не закрыла. Постояла, сунула в карман кардигана штангенциркуль, потом подумала и вернула туда же лупу.

Снизу донёлся голос Миры, торопливый, с уменьшительными, и очень тихий ответ Артёма. Лена подхватила инструменты, свёрток и спустилась на две ступени. Затем вернулась и прихватила ещё одну лампу.

— Пятнадцать, — сказала она в пустоту лестницы. — С лампой пятнадцать.

Втулку она точила два часа. Оголовок рукояти был сбит, квадрат стёрт до овала, как ступень, по которой сто лет ходили в одну сторону. Лена зажала стержень в тиски, подложила латунные щёчки и взялась за надфиль. Опилки ложились на верстак блестящей пылью.

Тимка сидел напротив, поджав ноги в разных шнурках, тетрадь на коленях.

— Я всё на обороты регулятора перевёл, как вы сказали. Вот. В понедельник две минуты в сутки, в четверг одиннадцать. А почему ступеньками?

— Потому что не «сломалась», а «уставала». Читай дальше.

— А это вы правда сами будете? Всё по-настоящему?

— Читай.

Он читал, а она слушала цифры, как слушают ход. Столбики со звёздочками сложились в маятник: длина, размах, число качаний. Лена кивнула сама себе. Будильник, тот самый, что она чинила в пятницу, стоял на верстаке и тикал уверенно, как человек, которому нечего скрывать.

— По нему выставим, — сказала она. — Он из лавки. Не соврёт.

— Прикольно, — сказал Тимка почти шёпотом.

Артём держал лампу. Никто его не просил, он просто взял её и встал так, чтобы свет падал на квадрат. Держал ровно. Руки почти не дрожали.

— Я знал, — сказал он, глядя на надфиль, а не на неё. — Про записку. Про пять дней. Про то, что тебя проверяют. Не говорил, потому что боялся: скажу, и ты уедешь. И потому что наследник по приказу — не наследник. Табличка велит, чтобы палец ставил тот, кто вынул письмо. Я не мог. Я рисковал городом и понимаю это. — Он замолчал. — Прости. Я не должен был делать это молча.

Лена сняла стружку, сдула, приложила калибр.

— Не «прости», а «держите лампу».

— Держу.

— И следующие загадки вслух.

— Следующих не...

— Вслух, Артём Львович.

Он кивнул. Уголок его рта дрогнул, и Лена заметила это только через минуту, когда он уже отвернулся к окну. Она сделала вид, что не заметила и тогда.

К пяти рукоять села во втулку с тихим, сухим щелчком. Лена завернула её в тряпку и понесла к двери. Мира уже ждала, обвешанная сумками с инструментом, браслеты звенели на каждом движении.

— Леночка, я так скажу. Бумаги потом. Сначала пусть проснутся и увидят, что башня идёт. Люди за часы держатся крепче, чем за подписи, уж я-то знаю, сорок лет наблюдаю. Пусть сперва порадуются, а потом мы им... Ох, кто вообще строил эту лестницу...

— Двенадцать, — говорила Лена, поднимаясь. — Тринадцать. Четырнадцать.

— ...кто её строил, тот сумок в жизни не носил.

— Восемьдесят семь.

Внизу башни было холодно, пахло камнем и старой смазкой. Лена поставила лампу на выступ. Ходовое колесо стояло неподвижно, тринадцатое гнездо зияло пустым зубом, как у Витьки из четвёртого «Б». Она достала зубец с толстым хвостовиком, надела на него рукоять. Латунь села плотно.

17:35.

— Раз, — сказала она. — Два. Три.

Зубец вошёл в гнездо одним движением, без нажима, как входит ключ в замок, который давно ждал. Колесо чуть подалось и приняло его. Никто не заклинило. Лена взялась за рукоять и повернула. Пружина отозвалась глухо, неохотно, потом ровнее. Она считала обороты вслух, потом вполголоса, потом только губами. Выставила ход по Тимкиным цифрам. Стрелку — по будильнику. Протянула руку и толкнула маятник.

Он качнулся раз, помедлил и качнулся обратно.

Тик. Тик.

Наверху ударил колокол, и следом, где-то за стеной, взорвался чайный крик. Снаружи глухо обрушилась на набережную волна, ту самую, что стояла на гребне сутки. Тимка выскочил на площадь, и было слышно, как дядя Гриша объясняет кому-то, что тележка не сама поехала.

Сумерки застали её на пороге лавки. Артём стоял там же, где утром, поднял руку к шее и снял шнурок. Ключ был латунный, тёплый, шнурок потёртый почти до нитки.

— Ключ от лавки, — сказал он. — Дверь твоя. Доверять то же ремесло. Я учился долго.

Лена взяла ключ. Мира уже шла от «Третьей чашки» с подносом булочек, за стеклом на верстаке лежали часы Софьи Аркадьевны, готовые, с ровным ходом. Лена вставила ключ в замок. Он повернулся с первого раза.

Над дверью звякнул колокольчик. Ровно в срок.

Она не удивилась. Повесила шнурок на шею, вытащила из кармана отвёртку и воткнула её в пучок.

— Ну что, — сказала Лена. — Кому-то кофе с корицей?

Об издании

Текст создан с помощью ИИ по заказу читателя. Для личного чтения.

Возрастное ограничение: 12+